
День и сумерки обещания (обещание в литературном контексте и в свете теории перформатива)

© 2019 г. М.А. Мони́н

*Первый Московский государственный медицинский университет, Москва, 119991,
ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2.*

E-mail: monin.maxim@gmail.com

Поступила 19.05.2019

В статье рассматривается феномен обещания в его философском, лингвистическом и социальном контексте. Автор анализирует теории перформативных речевых актов Дж. Остина и Дж. Сёрля, полемику Сёрля и Ж. Деррида; упоминает также роль концепта «обещание» в философии Ф. Ницше и П. Рикёра. Тема обещания осмысливается в ее отношении к таким разным областям философских исследований, как проблема идентичности субъекта, проблема общества как системы межличностных взаимодействий, проблема перформативных суждений, проблема темпоральности в ее экзистенциальном аспекте. Автор стремится показать, что чем более онтологически значимые аспекты обещания оказываются предметом внимания, тем больше обнаруживается относительно них разногласий среди философов и лингвистов. Своего рода литературным аналогом теоретическим размышлениям на тему обещания в статье выступает литературное произведение (роман Р. Гари «Обещание на рассвете»), что позволяет взглянуть на тему обещания в плане его отношения к жизни как экзистенциальному проекту и одновременно — как на сюжетобразующий элемент автобиографического произведения.

Ключевые слова: обещание, перформатив, констатив, иллокуция, перлокуция, комиссивы, обязательство, свидетельство.

DOI: 10.31857/S004287440007165-6

Цитирование: *Монин М.А.* День и сумерки обещания (обещание в литературном контексте и в свете теории перформатива) // Вопросы философии. 2019. № 10. С. 86–98.

Day and Twilight of Promise (a Promise in a Literary Context and in the Light of a Performative Theory)

© 2019 г. Maxim A. Monin

*Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 8–2,
Trubetskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation.*

E-mail: monin.maxim@gmail.com

Received 19.05.2019

This article discusses the phenomenon of promise - in its philosophical, linguistic, and social contexts. The author analyzes the theory of performative speech acts of J. Austin and J. Searle, the controversy of Searle and J. Derrida; while mentioning also the role of the concept of “promise” in the philosophy of F. Nietzsche and P. Ricoeur. The theme of the promise is comprehended in its relation to such different areas of philosophical research as the problem of subject identity, the problem of society as a system of interpersonal interactions, the problem of performative judgments, problem of temporality in its existential aspect. The author seeks to show that the more ontologically significant aspects of the promise are the subject of attention, the more there is disagreement about them among philosophers and linguists. As some kind of literature analogue of theoretical reflections on subject, the article advocates a literary work that allows you to look at the promise in terms of its relationship with the life project and – at the same time – as a plot-forming element of the autobiographical work.

Key words: promise, performative, constants, illocution, perlocution, commissioners, commitment, testimony.

DOI: 10.31857/S004287440007165-6

Citation: Monin, Maxim A. (2019) “Day and Twilight of Promise (a Promise in a Literary Context and in the Light of a Performative Theory)”, *Voprosy Filosofii*, Vol. 10 (2019), pp. 86–98.

«Вместе с материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет», – этой фразой Ромэн Гари предвещает свое жизнеописание в романе «Обещание на рассвете». В нем обещания были даны еще совсем юному герою – и будущему автору – его одинокой матерью, вынужденной наниматься на любую работу, лишь бы только сын не чувствовал себя ущемленным, в подчеркнуто категоричной и оттого почти комической форме: «Ты станешь Д’Аннуцио! Виктором Гюго, лауреатом Нобелевской премии!... Ее взгляд устремился в пространство, а на губах блуждала одновременно наивная и счастливая улыбка». Фанатичная вера матери в будущее сына, не отличавшая блестящее будущее от безрадостного настоящего (мать с сыном, «затерявшиеся в захоластье Восточной Польши» едва ли не бедствовали, а сын не подавал никаких надежд), приобретала иногда форму настоящего помешательства, когда мать, ругаясь с соседями по многоквартирному дому (этот эпизод у Гари напоминает сцены из романов Достоевского), кричала, выставляя вперед семилетнего сына: «Грязные буржуазные твари! Вы не знаете, с кем имеете честь! Мой сын станет французским посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актером драмы, Ибсенем, Габриеле Д’ Аннуцио! Он...»... Громкий смех “буржуазных тварей” до сих пор стоит у меня в ушах...». Эта вопиющая глупость и беспардонное манипулирование безответным

ребенком оказались, тем не менее, чрезвычайно эффективным педагогическим приемом, все значение которого открывается лишь ретроспективному взгляду: «Сегодня я Генеральный консул Франции, участник движения Сопротивления, кавалер ордена Почетного легиона, и если я и не стал ни Ибсенем, ни Д' Аннуцио, то все же не грех было попробовать... Думаю, никакое событие не сыграло такой решающей роли в моей жизни, как этот раскат смеха на лестнице старого виленского дома номер 16 по улице Большая Погулянка. Всем, чего я достиг, я обязан ему как в хорошем, так и в плохом; этот смех стал частицей меня самого. Прижав меня к себе, мать стояла посреди этого гвалта с высоко поднятой головой, не испытывая ни неловкости, ни унижения. Она *знала*».

Если обещание, данное герою-автору-рассказчику романа (он не упоминает, что стал, в добавление к прочему, значительным писателем) и осталось невыполненным, то совсем в ином смысле (к его рассмотрению мы обратимся позже); вопрос же, который следует обсудить сейчас, заключается в том, способен ли роман, уже в заглавии которого присутствует слово «обещание», помочь нам в понимании того, что такое «обещание»? Прежде всего — чем в грамматическом и смысловом отношении является фраза, сказанная матерью сыну: «Ты станешь великим»? Это не констатация, но это и не пророчество. Эта фраза не эквивалентна ни «Я обещаю, что ты станешь великим», ни «Пообещай мне, что ты станешь великим». Сам герой/автор определенно считает, что дал такое обещание («Я не принадлежал себе. Мне необходимо было выполнить свое обещание и, одержав сто великих побед, вернуться домой, увенчанным славой; написать “Войну и мир”; стать французским посланником — короче, дать раскрыться таланту своей матери»). Но если и так, то это не было обещанием в смысле сделанного утверждения — его никто и не требовал. При этом трудно не согласиться с тем, что речь в романе идет именно об обещании — причем об обещании в его высшем смысле, ускользающем, однако, от точного определения.

Но можно ли достичь такого рода определения или хотя бы большей ясности, привлекая работы, рассматривающие обещание в более отстраненном и более теоретическом аспекте? А.И. Мелден, автор, вероятно, одной из первых работ, специально посвященной проблеме обещания (1956 г.), рассуждает преимущественно в коммуникативном и этическом аспектах, полагая, что обещание так же не может быть облечено строгой дефиницией, как слово «аут», используемое в различных играх, — ввиду слишком большого разнообразия возможных контекстов [Melden 1956, 56]. Однако во всех этих контекстах, полагает Мелден, обещание сохраняет присущую ему уникальную черту — соединения прошлого и будущего посредством постоянства намерения дающего обещание, который не просто утверждает свое намерение сделать что-то в будущем, но и настаивает, что таковое намерение у него сохранится к моменту выполнения обещанного [Ibid., 60]. Подобное постоянство делает меня агентом морального действия, заслуживающего — выполнением своих обещаний — доверия к себе. Хотя обещание предполагает взятие на себя определенных обязательств, Мелден все же не считает, что обязательство и обещание — одно то же (иначе фраза «я обязан, потому что обещал» была бы тавтологией [Ibid., 51]); кроме того, обязательства могут иметь более безличный характер. Также Мелден не отождествляет обещание с заключением контрактов и подобными формами «социальной кооперации» ввиду взаимного характера последних [Ibid., 56]. Наконец, настаивая на безусловном выполнении данных обещаний, Мелден, тем не менее, не исключает возможности их изменения в случае необходимости [Ibid., 58].

П.С. Ардал в статье на тему обещания [Árdal 1968] отчасти продолжает идеи Мелдена, отчасти спорит с ними. Он утверждает, что 1) обещания выражают собой интенцию, но определенного рода, «положительного для получателя», что позволяет отделить их, например, от угроз; 2) речевая форма «я обещаю» не является необходимой для подобного рода актов; 3) обязательства характеризуются не столько обязательством обещающего, сколько ожиданиями того, кому адресовано обещание [Ibid., 225]. Последний пункт непосредственно полемичен по отношению к позиции Мелдена: Ардал утверждает, что обещание теряет силу, когда его выполнение становится для «получателя обещания» безразличным [Ibid., 235]. Мелден считал, что обещание

следует выполнять и в этом случае; другие авторы согласились с этой точкой зрения, полагая, что мнение получателя всегда может измениться [Stoljar 1988, 200]. В целом в отношении выполнения обещаний позиция Ардала выглядит более гибкой: хотя он, как и Мелден, считает обещания (и их выполнение) необходимой частью нормальной социальной жизни [Árdal 1968, 236], он все же склонен относиться к человеку, скрупулезно выполняющему все свои обещания, как к фанатику, либо как к человеку морально незрелому (отчасти присоединяясь, таким образом, к точке зрения Ницше, о которой будет сказано ниже).

Несколько раньше по отношению к статье Ардала, в начале 1960-х гг., получил распространение принципиально иной — лингвистический — подход к теме обещания, в рамках которого обещание в качестве суждения рассматривалось в широком контексте аналогичных ему речевых актов, обозначенных основоположником данного подхода Дж. Остином как перформативы. В противоположность констативам, то есть высказываниям — сообщениям, которые можно оценить по обычной для высказываний оппозиции «истина / ложь», перформативы в классификации Остина соответствуют речевым действиям, и рассматривать их можно по критериям действия, то есть как удачные или неудачные. Например, высказывание: «объявляю, что заседание состоится завтра в 18.00», сообщает некую информацию, истинную или ложную, и соответственно, является констативом; но высказывание: «объявляю заседание открытым» — представляет собой перформатив, поскольку является речевым действием, создающим некое новое положение дел. При этом перформативное высказывание должно соответствовать определенной грамматической форме (преимущественная форма такого высказывания — первое лицо настоящего времени, например: «я обещаю, что...», в то время как «он обещает, что...» означает констативную форму высказывания), а также определенному социальному контексту (например, фраза, открывающая заседание, должна быть произнесена именно на заседании и тем, кто уполномочен его открывать).

Обратившись к исследованию речевых действий, Остин хорошо понимал, что он, можно сказать, открыл для науки целый континент ускользавших ранее от рассмотрения речевых форм, но в то же время отдавал себе отчет, насколько сложным делом является обозначить хотя бы примерные очертания этого континента и описать его рельеф. Прежде всего, информация, которую сообщают констативы, очень часто, если не всегда, также означает некое новое положение дел; то есть констативы не отделены от перформативов непрерывной пропастью. Во-вторых, обозначенное перформативом действие может иметь различное отношение к самому высказыванию. В этом нетрудно убедиться, сравнивая такие, например, высказывания как: «называю этот корабль “Королева Виктория”», «приказываю всем освободить помещение», «я утверждаю, что видел его здесь вчера». В этих высказываниях (Остин относил их все к перформативам) действие либо совпадает с высказыванием, либо предполагается им, либо предшествует ему. В-третьих, выполняемое перформативом действие может не содержаться в самом речевом акте: например, можно сказать (в процессе перформативной речи) «я обещаю», «я называю», «я прошу», «я приказываю» и т.д., но, как правило, в перформативном смысле не используются формы «я угрожаю», «я оскорбляю», «я лгу» и т.д., хотя само действие подобных речей именно в том, что они угрожающие, оскорбительные, льстивые и т.д.

Для преодоления этих трудностей Остин ввел разделение перформативов по степени, введя понятия явных (эксплицитных) и неявных (имплицитных) перформативов; вторую проблему он постарался решить при помощи достаточно сложной классификации перформативных суждений. Что же касается речевых действий, которые «отказываются называть себя», то Остин, в дополнение к разделению всех высказываний на два класса, констативов и перформативов, ввел также разделение на три класса: «локуции» (соответствующие констативам), «иллокуции» (речевые действия, которые сами себя определяют) и «перлокуции» (соответствующие ситуациям убеждения, угрозы и другим, которые Остин охарактеризовал общим понятием «пытаться»).

Какое же место занимают обещания в теории Остина и что эта теория дает для понимания обещания? Рассмотрим тему обещания применительно к каждому из трех

указанных выше аспектов (отношение к явному/неявному видам перформативов, положение в общей классификации речевых суждений, отношение к делению на иллокуции и перлокуции).

Остин безусловно относил «внушающий благоговение» (awe-inspiring) [Austin 1962, 9] перформатив «я обещаю» к так называемым «эксплицитным перформативам», то есть перформативам, включающим в себя «высокозначимое и недвусмысленное выражение» [Остин 1999, 39]. Однако обещание, согласно Остину, может содержаться в более или менее неявном виде в имплицитном, или, как это Остин иногда называет, «первичном перформативе». Отличие последнего от ясного и недвусмысленного обещания Остин объясняет так: «В качестве примера напишем следующее: (1) первичный перформатив: “Я там буду”; (2) эксплицитный перформатив: “Обещаю, что буду там”... Если кто-то говорит: “Я там буду”, мы можем спросить: “Это что — обещание?”. Мы можем получить ответ: “Да” или “Да, я обещаю это”, в то время как ответ может быть и иным: “Нет, но я собираюсь быть там” (выражающий или объявляющий о намерении) или же “Нет, но я могу предвидеть, зная свою слабость, что я (возможно) там буду”» [Остин 1999, 64–65].

Итак, фраза «я там буду» может быть, согласно Остину, проинтерпретирована и как обещание, и как сообщение о намерении («я собираюсь»), которое Остин также относил к перформативам. Однако Дж. Сёрль, чья теория речевых актов развивает и отчасти формализует теорию Остина, утверждает, что сообщения о намерении относятся к констативам, поскольку говорят не о будущем событии, а о настоящем положении дел (например, о существующем у меня *сейчас* намерении прийти туда-то), и могут быть истинными или ложными [Searle 1989, 536]. Но могут ли быть аналогичным образом ложными обещания (те, которые я, дающий их, не собираюсь выполнять)? Очевидно, что ложные обещания отличаются от истинных, но очевидно также и то, что ложность их каким-то образом проецирована на будущее. Обещания определенно предполагают намерения, но не наоборот; являются ли они «намерениями за границами намерения» — это остается пока неясным.

Но является ли перформатив «я обещаю прийти» действительно ясным и недвусмысленным? По-видимому, Остин не видел оснований сомневаться в этом, добавляя к грамматической форме обещания лишь требование, чтобы соответствующее высказывание было услышано и понято [Остин 1999, 31]. Сёрль в своей теории речевых актов ставит вопрос несколько иначе: что такое не просто «ясное», но «успешное» обещание. Он называет девять таких условий: высказывание «я обещаю прийти» 1) должно быть ясно сказано и ясно понято (условие «входа и выхода»); 2) должно содержать определенную мысль; 3) должно говорить о каком-то действии в будущем; 4) должно содержать действие, желательное для получателя; 5) это действие не совершится «само собой», то есть при нормальном течении событий; 6) должно содержать искреннее намерение говорящего; 7) должно содержать обязательство говорящего исполнить намерение; 8) должно быть опознано получателем именно как обещание; 9) должно соответствовать семантическим правилам данного языка, позволяя опознать сказанное как обещание [Сёрль 1986^a].

Несмотря на то что Сёрль распространял свои правила только на «нормальные» ситуации обещания, соглашаясь, что всегда можно найти какие-то экзотические случаи и использовать их как контрпримеры, его теория «правильного обещания» критиковалась как отвлеченная от реального речевого взаимодействия, где обещание может быть выражено простым «да» или «конечно» [Bach, Harnish 1992, 96]. Критиковали теорию Сёрля также и за то, что она не учитывает сам коммуникативный контекст, в котором возникает обещание [Barke 1972], см. ниже.

Наконец, Сёрль сохранил тезис Остина о том, что формулировка «я обещаю» в общем случае усиливает перформативную силу высказывания, хотя Сёрль и соглашается с тем, что в некоторых высказываниях выражение «я обещаю» может не быть перформативным (например: «я обещаю многое многим людям» [Searle 1989, 537]). Этот очевидный, казалось бы, тезис, вызвал многочисленные возражения. С точки зрения Баха и Харниша, высказывания типа «я обещаю, что я...» — это вид косвенной речи, когда одно

коммуникативное намерение идентифицируется аудиторией посредством другого [Bach, Harnish 1992, 103]. В подобной интерпретации высказывание «я обещаю, что...» фактически отождествляется с таким высказыванием, как, например, «я говорю, что...»; при этом исключительность «здесь и теперь» обещания неизбежно теряется. Некоторые авторы полагают, что смысловая приставка «я обещаю» обозначает не столько усиление, сколько рефлексивную автохарактеристику высказывания, рассматривая «я обещаю» в качестве своего рода аналога «я мыслю» [Cogredor 2009, 294]. Соответственно, «рефлексивные обещания» и – шире – эксплицитные перформативы могут рассматриваться не как перформативы по преимуществу, но как такие перформативы, в которых говорящий дает понять слушателям, что он осознает то, что он делает [Johansson 2003, 690].

Проблема ясности и недвусмысленности перформативного высказывания, очевидно, заключается в том, что имеются различные виды ясности: есть ясность суждения (ее в первую очередь имел в виду Остин); есть ясность коммуникации (то, что Бах и Харниш называют «успехом коммуникации»). Есть, наконец, ясность в смысле успешности самого перформативного действия (в данном случае обещания), и последняя наименее понятна – даже не в силу того, что намерения обещающего никогда не могут быть совершенно ясны, в том числе и для него самого, но и потому, что события «совершения» обещания как речевого акта и его последующее исполнение могут быть включены в совершенно различные ситуационные контексты, быть в буквальном смысле несравнимы друг с другом.

Но вернемся к теории Остина в аспекте места обещания в его классификационной системе перформативных актов. Остин относит обещания к так называемым «комиссивам», то есть суждениям, главное свойство которых «обязать говорящего к определенной линии поведения» [Остин 1999, 130]. В этот класс Остин отнес довольно большую группу перформативных глаголов, часть из которых можно отнести к «намерениям» (планировать, намереваться, иметь целью (purpose) и др.), а часть – к «обязательствам» (давать обет (vow), клясться, заключать договор (contract), гарантировать, обязаться, посвятить себя (dedicate myself to) и др.). Поскольку предложенная классификация перформативов не является строгой, комиссивы, пишет Остин, частично пересекаются со всеми остальными классами перформативных суждений, в первую очередь с классом «экспозитивов» (представление точки зрения, изложение аргументов, а также прояснение употреблений и референций) [Там же, 132], «экзерситивов» (принятие решения в пользу или против определенного образа действий) [Там же, 128], отчасти с классом «вердиктивов» (официальное или неофициальное сообщение, или размышление, или суждение об оценке фактов) [Там же, 127], и, в меньшей степени, «бехавитивов» (реакция на поведение и установки других людей; крайне разнородный, по признанию самого Остина, класс).

Класс комиссивов с входящим в него обещанием сохраняется также в классификации речевых актов Дж. Сёрля [Сёрль 1986⁶], но из этой группы исключаются глаголы намерения и долженствования, которые были «близкими родственниками» обещанию в модели Остина. Вместе с тем обещания сближаются в интерпретации Сёрля прежде всего с просьбами, которые он включает в предложенную им группу «директивов» (в остиновской классификации просьбы входили в экзерситивы), поскольку и директивы, и комиссивы в классификации Сёрля определяются одним и тем же «направлением приспособления» высказывания – «от реальности к словам». В итоге Сёрль задается вопросом, не являются ли обещания просьбами, обращенными к самому себе? Впрочем, отождествления тех и других он все же не проводит.

Сохраняется класс комиссивов с включенным в него обещанием и в таксономии речевых актов К. Баха и Р. М. Харниша [Bach, Harnish 1979, 50], но теперь «обещания» оказываются в наибольшей семантической близости к «предложениям» (offers). Оба эти речевых акта и составляют, согласно Баху и Харнишу, класс комиссивов. При этом обещания являются своего рода обобщающим понятием по отношению к нескольким речевым актам, таким как заключение контракта (contracting) и просьбы (betting). Кроме того, к обещаниям в классификации Баха и Харниша, принадлежит несколько «гибридных актов», таких как клятвы (swearing), предоставление гарантий (guaranteeing), отказ от дальнейшей борьбы (surrendering), представляющих собой

«гибрид» комиссивов и констативов. Последние не следует путать с «констативами» Остина: Бах и Харниш (как до них Сёрль) полагали что некоторые перформативные акты могут быть оценены как истинные или ложные; констативы в данном смысле выражают уверенность говорящего в том или ином положении дел и (как правило) его намерение передать свою уверенность слушателю [Ibid., 41]. Еще одним гибридным подвидом обещания является, согласно Баху и Харнишу, «приглашение» (inviting); в данном случае речь идет о гибриде комиссива и директива (последняя категория, заимствованная Бахом и Харнишем у Сёрля определяется ими как попытка говорящего вызвать определенное действие со стороны слушателя [Ibid., 47]).

Итак, перед нами довольно пестрая картина частично уточняющих друг друга, частично противоречащих друг другу классификаций, из которой можно все же извлечь некоторые соображения относительно границ обещания, отделяющих его от иных речевых актов. О сходствах и различиях обещания и суждений намерения было сказано выше; обязательства (в общем смысле) отличаются от обещания тем, что часто предполагают безличный характер, тогда как обещания обычно кому-то адресованы; обеты, клятвы, посвящения себя также предполагают обычно некую принимающую институцию, и также изменение статуса дающего обет или клятву. Но все эти формы речевого действия остаются, бесспорно, близки обещанию. Просьбы, как и обещания, имеют отправителя и адресата, но, очевидно, меняют их местами, налагая обязательства на получателя. В своей категоричности обещания могут быть уподоблены вердиктам, но обещающий обычно не наделен особым статусом, позволяющим ему совершать соответствующие речевые действия. Различного рода утверждения (которые Остин относил к типу экспозитивов) можно сравнить с обещаниями, особенно в том случае, когда утверждения принимают форму свидетельства: семантическое сближение обещания и свидетельства характерно, как увидим ниже, для позиции П. Рикёра [Рикёр 2010, 125]. Однако свидетельства обычно делаются о ком-то другом, тогда как обещание — о самом обещающем. Кроме того — и, пожалуй, это более важно — различные виды утверждений, а также различные виды распоряжений опираются обычно не на личность высказывающего суждение, а на некое положение дел: я что-то утверждаю, потому что это «объективно» правильно, я кого-то штрафую, увольняю и т.п., потому что это соответствует тем или иным правилам или инструкциям. Соответственно, я по возможности устраниваю свою личность из соответствующего высказывания. То же самое, как полагает Остин, говорящий делает и в случае бехавитива, то есть суждения 1) ситуационного; 2) эмоционально окрашенного, например: «вы обворожительны!», «да пошел ты!», «извините меня». Но в данном случае «умаление себя», по мнению Остина, происходит «в сторону субъективности»: я либо произношу что-то под влиянием момента, либо — в случае извинения — указываю на произвольность совершенных мною действий, то есть сожалею о них, как бы отказываясь считать их своими.

Очевидно, что обещания находятся каким-то не вполне понятным образом между «объективирующими» и «субъективирующими» перформативами.

Наконец, рассмотрим отношение обещания к высказываниям, которые Остин называет «перлокутивными». Казалось бы, именно от подобного типа речевого действия высказывания, содержащие обещания, должны быть наиболее далеки, поскольку перлокутивное речевое действие, напомним, не обозначает себя в качестве такового: речь может быть оскорбительной, убеждающей и т.п., но говорящий избегает автореференции («я оскорбляю», «я убеждаю» и т.п.). Некоторые авторы, впрочем, полагают, что Остин наделяет обещания несомненным перлокутивным эффектом, особенно в тех местах, где акцентирует внимание на связи с другими, которая создается актом обещания, связи, позволяющей говорить о создаваемой обещанием дискурсивной ответственности и, соответственно, вывести обещание за пределы «иллокутивной изоляции» [Munro 2013, 36]. Действительно, успешность перлокуции определяется не намерениями или искренностью говорящего, например, его собственным убеждением в том, в чем он старается убедить других, но исключительно степенью воздействия его речи на слушателей. Подобная трактовка обещания позволяет рассматривать его коммуникативное действие как процесс сложной игры

прямых и обратных связей (от отправителя к получателю и обратно), когда, например, говорящим могут приниматься в расчет «не просто намерение вызвать определенную реакцию у слушающего, но намерение вызвать эту реакцию посредством распознавания со стороны слушающего намерения вызвать эту реакцию» [Стросон 1986, 142].

Инициированные обещанием ожидания лежат в основе юридической интерпретации обещания у С. Стольяра, который подчеркивает, что дающий обещание не просто, «открывает, по словам Шекспира, глаза ожиданиям» [Stoljar 1988, 193], но делает это намеренно, то есть ответная реакция получателя включена в интенцию обещающего [Ibid., 203]. По причине активного вовлечения получателя в даваемое ему обещание Стольяр вовсе отказывается рассматривать обещание как перформатив, что едва ли правильно, даже согласно его собственной логике: это все же речевое действие, но имеющее выраженный возвратный характер. Вместе с тем, говорит Стольяр, «обещания и ожидания логически различны» [Ibid., 194]: ожидания могут быть вызваны одними словами о намерении, и, с другой стороны, «пустые обещания» могут не вызвать никаких ожиданий. Стольяр выдвигает несколько правил для «серьезных» обещаний и обещаний, имеющих юридически обязывающую силу: обещание должно соответствовать возможностям обещающего; невыполнение обещания, которое напрямую не зависело от личных сил обещающего, все равно влечет его ответственность (невыполнение нанятыми им рабочими контракта и т.п.); обещание должно относиться к будущему, но не отдаленному; обещание должно быть желательным для получателя. Последнему пункту, который имеется и у Сёрля, Стольяр придает особое значение, поскольку благодаря ему «обещание означает больше, чем сообщение о действии, которое намереваются предпринять: оно становится по существу выполнением намерения получателя обещания, выполнением его ожиданий» [Ibid., 198]. П. Ардал в упомянутой выше статье утверждает даже, что ожидания способны «создать обещание», когда, например, перед отъездом во Францию некто говорит другу: «Я привезу тебе бутылку ликера», не рассматривая это как обещание и забывая о своих словах. Однако по возвращении, когда друг спрашивает: «Где же моя бутылка ликера?» – он «задним числом» превращает произнесенные слова в обещание [Árdal 1968, 233].

Некоторые авторы идут еще дальше, рассматривая само принесение обещания как по преимуществу вынужденное, а именно, как обещание что-то сделать для получателя в ответ на ожидаемую от того услугу. Д. Баркер приводит условный пример такого обещания: «дикарь» просит прохожего вытащить его из болота, обещая за это быть его слугой в течение года. Подобные обещания Баркер называет «гипотетическими», противопоставляя их односторонним, или «категорическим» обещаниям Сёрля, называя последние ««странным отклонением» от гипотетических, поскольку они не дают основания для появления ожиданий у получателя» [Barker 1972, 27], приближаясь в этом отношении к необъяснимому с точки зрения предыдущих событий дару. Если понимать обещание, основываясь на его категорической форме, полагает Баркер, то остается непонятным, почему невыполнение обещания – это зло, в то время как гипотетическая интерпретация обещания объясняет зло невыполнения обманутым доверием.

Несомненно, в интерпретации Стольяра и Баркера обещание в большей степени сохраняет характер коммуникативного взаимодействия, чем, например, приказ, односторонний характер действия которого гораздо более выражен. Именно по причине своей двунаправленности, «двухчастной природы» (their bipartite nature) [Stoljar 1988, 202] обещания, оказываются в основании самой социальности, поскольку «трудно представить “до-обещающее” или не-обещающее общество»... [Ibid., 204]. При этом социальность порождается не самим по себе коммуникативным взаимодействием, но главным образом тем, что обещание погружает его в этический контекст, наделяя отправителя и получателя обещания ролью «моральных агентов, понимающих роль, которую подобные суждения играют в их жизни» [Melden 1956, 65].

Однако акцент на активной роли получателя обещания, который по существу оказывается его соавтором, не несущим, однако обязательств обещающего, неизбежно

ставит нас перед проблемой вынужденных обещаний — не будут ли такие обещания гораздо более односторонними, чем приказ? Куда будет направлена их перформативная сила и сохранят ли они свой этический смысл? Остин мимоходом упоминает случай подобного обещания, не вдаваясь в его подробное рассмотрение: «Заботливый родитель мальчика, слегка подтолкнув его локтем, говорит: “Конечно же он обещает, не правда ли, Уил?”», ребенок же покорно стоит рядом, не говоря ничего. Смысл здесь в том, что он должен дать обещание сам, произнося “я обещаю”, а его отец слишком торопит события» [Остин 2006, 271].

Конечно, ребенок не способен в данной ситуации отказаться от обещания, и следовательно, он *не должен* обещать. Вместе с тем, едва ли не для каждого это и есть первичный опыт обещания, и вполне уместными для его иллюстрации оказываются слова Ницше, сказанные, впрочем, несколько по другому поводу — у Ницше речь идет о юности человечества, а не человека: «Именно здесь дается обещание; именно здесь речь идет о том, чтобы внушить память тому, кто обещает; именно здесь — можно предположить недоброе — находится месторождение всего жесткого, жестокого, мучительного» [Ницше 1990 II, 444]. Трактовку человека как «великого обещания» у Ницше следует, очевидно, истолковать в смысле «великого обязательства», и тогда прилагательное «многообещающий» способно повернуться к человеку, которого так называют, своей угрожающей стороной. Итак, должны ли мы исполнять наши обещания? Ответ Ницше вполне категоричен: «Нет, не существует никакого закона, никакого обязательства такого рода; мы должны становиться изменниками, нарушать верность, вечно предавать наши идеалы» [Ницше 1990 I, 483]. Но почему обещание — даже вынужденное и являющееся ответом на определенного рода насилие — так уж плохо? Потому, отвечает Ницше, что его нельзя выполнить: будущее неизбежно изменит все — получателя обещания, обещающего, обещанное; утверждаемая обещанием тождественность настоящего и будущего не принесет обещающему ничего, кроме страданий и чувства вины. Поэтому мы должны спросить себя, «необходимы ли эти страдания при перемене убеждений и не зависят ли они от ошибочной оценки, от ошибочного мнения... человек убеждения не есть человек научного мышления; он стоит перед нами в возрасте теоретической невинности и есть ребенок, сколь бы взрослым он ни был»? [Там же].

Критика Ницше производит деструкцию обещания, соотнося его предполагаемое постоянство со всеизменяющим действием времени. В свою очередь ответ на эту критику, который предпринимает Поль Рикёр, стремясь «восславить величие обещания» [Рикёр 2010, 124], также соотносит обещание с категориями человеческого времени, ставя его в один ряд с памятью, свидетельством и прощением и только потом — с коммуникацией или перформативностью как таковой. В «векторном» смысле обещание и память, по мысли Рикёра, противонаправлены, но в смысле отношения к иному во времени они скорее аналогичны. Память — это не область нашего «я», где хранится прошлое; точнее будет сказать, что это наша способность сохранять верность прошлому. Эта способность всегда находится перед лицом собственной негативности, причем двух, отчасти противоположных, ее видов — угрозы забвения и угрозы травмирующих воспоминаний. Наша самотождественность, полагает Рикер, как раз и формируется через противостояние этой негативности и в то же время включение ее в себя. Обещание, согласно Рикёру, это своего рода память, направленная в будущее: если «в случае памяти главный акцент делается на самотождественности... в случае обещания преобладание самости так сильно, что об обещании часто говорят как о парадигме самости» [Там же, 106]. Свидетельство, продолжает Рикёр, также выступает гарантом самотождественности; оно является своего рода социально ориентированным аналогом обещания: свидетель выступает перед другими своего рода представителем какого-то события в прошлом, и в то же время «свидетель — это тот, кто обещает свидетельствовать вновь» [Там же, 125]. Наконец, прощение — это направленное в будущее обещание не помнить; «освобождая от уз», пишет Рикёр, оно «противостоит необратимости» [Там же]. Что объединяет память, свидетельство и прощение — элементы смыслового ряда, в который Рикёр помещает

и обещание? Это не столько действия (поведенческие или речевые), сколько позиции, линии координат, задающие положение в онтологическом и в то же время аксиологическом универсуме. И возможно, это и есть тот контекст, который — избегая определений и классификаций — наделяет неуловимый для теоретического мышления концепт обещания смысловой значимостью.

Однако, акцентируя в обещании утверждаемую им самоидентичность обещающего и также (возможно) получателя обещания, не упускаем ли мы вновь его коммуникативное измерение? В романе Гари обещание, под знаком которого развивается действие, определенно придавало самоидентичность его главным героям, однако оно также определяло тип их взаимоотношений. Хотя, с другой стороны, приведенные выше интерпретации обещания как способа социального взаимодействия независимых и равных друг другу «моральных агентов» также очень мало соответствуют взаимоотношениям героев романа, особенно если принять во внимание способ исполнения обещания, являющегося предметом повествования. Своим непосредственным влиянием мать могла создавать только предварительные условия для исполнения обещанного (переехать во Францию, устроить сына в приличную школу), но первый же серьезный шаг — получение высшего образования — означал разлуку с матерью. Начавшаяся вскоре мировая война сделала эту разлуку, можно сказать, окончательной. Однако ничего еще не было выполнено — всему обещанному для сына только предстояло случиться. У матери оставался лишь один способ воздействия на ситуацию — письма сыну: «Вскоре после прибытия в Англию я получил первые ее письма. Они тайно переправлялись в Швейцарию, откуда мне регулярно пересылали их подруга моей матери. Ни одно из них не было датировано. Вплоть до моего возвращения в Ниццу спустя три с половиной года, вплоть до моего возвращения домой, эти письма без даты, без времени, повсюду верно следовали за мной. Целых три с половиной года меня поддерживали более сильный дух и воля, и через пуповину моей крови передавалось мужество более закаленного сердца, чем мое собственное». Обещания, как говорит нам роман, оказались в конечном итоге выполненными именно посредством этих писем.

Но что дает соединение темы обещания и темы письма, по видимости совершенно разнородных, и лишь случайно сложившиеся друг с другом с тексте романа Гари? Думается, неслучайно обе эти темы оказались соединены в одной из самых острых дискуссий относительно перформатива вообще и обещаний в частности, развернувшейся между Дж. Сёрлем и Ж. Деррида.

Здесь важно подчеркнуть, что упомянутая выше нищевская идея временного разрыва, создающая невозможность обещания, — это как раз та мысль, которая находится «на острие» критики Жаком Деррида теории перформативов Остина, критики, вызвавшей критический — уже по отношению к Деррида — ответ Сёрля, который, в свою очередь, вызвал вторичный полемический выпад со стороны Деррида [Derrida 1977; Searle 1977; Derrida 1978]; см.: [Деррида 1996].

Как пишет Деррида, остиновская концепция перформативных актов «относительно нова» (relatively new) [Derrida 1988, 13], поскольку связывает успешность подобных актов не с переносом смысла («у перформатива нет своего референта»), а тем, что Деррида называет «сообщить силу импульсом следа». Подобная трактовка, предполагающая непосредственное присутствие участников перформативной коммуникации, а также их вовлеченность в ситуацию коммуникативного акта (искренность, серьезность намерений, понимание происходящего), постоянно ставит Остина перед проблемой отделения подлинных перформативных коммуникаций от мнимых. Задача эта, по мнению Деррида, заведомо нерешаемая, поскольку строгих критериев, отделяющих искренность от неискренности, серьезность от несерьезности, понимания от непонимания и т.д. нет и не может быть. Причиной здесь является содержащийся в любой коммуникации «разрыв присутствия» [Ibid., 6], делающий участников коммуникации непрозрачными друг для друга.

Наиболее очевидным примером такого разрыва является письмо — в его обиходном смысле, как письмо от кого-то кому-то. В качестве средства коммуникации

письмо, говорит Деррида, имеет два различных, даже противоположных свойства: 1) оно сохраняется, несмотря даже на смерть отправителя и адресата, сохраняется в качестве письма, то есть продолжает оставаться читабельным; 2) оно отделяется от своего контекста, в частности, от намерений написавшего, который умирает в буквальном смысле в ходе написания письма.

Однако письмо, настаивает Деррида, продолжает оставаться структурно читаемым, воспроизводя определенные правила, или коды, то есть являясь в широком смысле слова цитатой. Это свойство сохраняемости содержащегося в письме сообщения Деррида называет «итерабельностью». Отвечая на критику Сёрля, по мысли которого у Деррида имеет место простая путаница итерабельности с постоянством написанного [Searle 1977, 201], Деррида говорит, что итерабельность — не просто повторяемость, но «инаковость этого же самого» [Derrida 1988, 119].

Оба свойства письма — итерабельность и разрыв — являющиеся по сути одним и тем же, поскольку первое обозначает возможность для сообщения существовать вне любого контекста, а второе — возможность отделиться от исходного контекста, распространяются, по мысли Деррида, в том числе и на практику разговорной речи, делая ее в своей основе «графематичной». В ответ на критику Сёрля, согласно которой Деррида имеет в виду какую-то «внутреннюю» интенцию автора, в то время как его письмо или устное сообщение как раз и выражают его, автора, намерение («речи, так сказать, заменяют собой интенции» [Searle 1977, 202] и могут быть поняты всяким знающим язык, который использовал отправитель), Деррида дает «обещание» (искренне или иронически) быть «серьезным» в своем анализе аргументов Сёрля и в конце своего длинного текста, на протяжении которого неоднократно призывает себя «быть серьезным», подводит итог: «Я обещал (очень) искренне быть серьезным. Сдержал ли я обещание? ... Я не знаю и не знаю, должен ли был» [Derrida 1988, 107].

Нетрудно заметить, что у Деррида критика теории перформатива предполагает как «сильную», так и «слабую» интерпретации. Согласно «слабой», никогда нельзя с достаточной уверенностью определить иллюкутивную силу конкретного перформатива, то есть определить степень его «подлинности». В соответствии с «сильной» интерпретацией, намерения автора *всегда* скрываются в самом акте написания, который, напомним, имеет для Деррида парадигматический смысл по отношению к любой форме сообщения. Мое бытие в качестве автора — утверждает Деррида — означает «мое крайне скорое исчезновение, мое в принципе не-присутствие, к примеру, не-присутствие моего значения, моей интенции-означивания (*mon vouloir-dire, mon intention-de-signification*), моего желания-сообщить-вот-это в отправлении и производстве следа» [Derrida 1988, 6]. Это само-исчезновение автора (не просто неясность его намерений для адресата или случайного читателя, но также их неясность для него самого) в последующий момент времени; то есть речь идет не столько о коммуникативном, сколько о временном разрыве.

Сёрль, конечно, не мог всерьез воспринять подобную логику: для него автор остается живым в своем сообщении, даже несмотря на свою «эмпирическую смерть»: понимая язык отправителя, мы вполне понимаем, то, что он хотел сообщить (не важно, нам или непосредственному получателю сообщения). Вопрос, однако, в том, не является ли сообщение «силы импульсом следа» в какой-то степени сообщением о смерти отправителя? Это не означает правоты Деррида, где смерть/исчезновение отправителя — это его трансцендентность по отношению к написанному, но не означает и правоты Сёрля, согласно которому сама смерть трансцендента акту коммуникации.

Вернемся к письмам из романа «Обещание на рассвете», которые мать, оставшись в оккупированной нацистами Франции, писала сыну, воевавшему в британской авиации: «Мой прославленный и любимый сын, — писала она, — мы с восхищением и гордостью читаем в газетах о твоих героических подвигах. В небе Кельна, Бремена, Гамбурга твои расправленные крылья вселяют ужас в сердца врагов». Хорошо ее зная, я прекрасно понимал, что она хотела сказать. Для нее всякий раз, когда самолет Королевских ВВС бомбил цель, я был на его борту... Это ничуть не удивляло ее. Как раз этого она и ждала от меня. Она всегда это знала». Затем «письма от матери

стали короче... Она хорошо себя чувствует. Инсулина у нее достаточно. «Славный мой сын, я горжусь тобой... Да здравствует Франция!»». Затем сын долго болел и был на волосок от смерти, однако тяготеющее над ним «обещание» не давало ему умереть («Я отказывался признать себя побежденным»), но когда он наконец написал матери, беспокоясь, что она волнуется по причине трех месяцев его молчания, оказалось, что «похоже, она этого не заметила... И все же теперь в ее письмах проскальзывала какая-то грусть. Впервые я почувствовал в них странную нотку, что-то недосказанное и тревожное... Что-то не так, что-то в этом письме скрывалось от меня». И все же обещание постепенно выполнялось: сын получал боевые награды, написанный им первый роман принес ему известность, его даже пригласили на дипломатическую службу. «Близилось время высадки союзников и окончания войны, и в письмах из Ниццы чувствовались радость и спокойствие, как будто бы мама знала, что конец близок. В них даже сквозил тонкий юмор, который я не совсем понимал». Близится также и окончание романа, и читатель подводится к итогу, о котором, вероятно, он уже догадался и сам: «Моя мать умерла три с половиной года назад, через несколько месяцев после моего отъезда в Англию. Но хорошо зная, что я не выстою без ее поддержки, она приняла меры. За несколько дней до смерти она написала около двухсот пятидесяти писем и переслала их своей подруге в Швейцарию». Несмотря на то, что роман Гари позиционируется как автобиографический, и следовательно, достоверный, во всяком случае, в важнейших деталях (и какой автор решился бы спрятать образ своей реальной матери за какой-то литературной фикцией!), читатель, который ищет соответствие повествования критериям «реальной жизни», имеет полное право воскликнуть: «Этого не может быть! Как можно в течение нескольких лет находиться в переписке, так, чтобы адресат не догадался о смерти отправителя писем, ведь письма предполагают реакцию на письма самого адресата, реакцию на внешние события и т. д.». Однако получающий письма сын мог действительно ни о чем не догадываться, поскольку его мать *никогда* не обращала внимания ни на что другое, помимо того, что входило в ее «проект обещания», обещания, которого она, в качестве перформативного акта, вероятно, никогда не давала и никогда не требовала, но которым она сама стала. И это действительно означало ее смерть, смерть как процесс постепенного исчезновения в ее обещании. В итоге этого процесса она оказалась не по ту сторону письма, в соответствии с мыслью Деррида, — наоборот, ее не было нигде, помимо письма.

Обещать — значит стать обещанием. Можно ли сказать, что подобная интерпретация вступает в противоречие с трактовкой обещания как речевого действия или формы коммуникативной взаимосвязи? Или, напротив, следует совместить то и другое, прибегнув к неким ожидаемым формулировкам, назвав обещание в первом смысле предельным значением или онтологическим фундаментом по отношению ко второму смыслу? Едва ли это на самом деле так, ведь обещание в первом смысле просто нельзя выполнить — просто потому, что выполненное, оно остается в одиночестве, у него не оказывается «другого», для которого все и делается. Эту неразличимость представляется более правильным метафорически назвать «сумерками обещания», в то время как пространство взаимодействий независимых агентов — его «днем». Днем слово соотносится с предметом — его наличием или отсутствием. В сумерках, когда предметы видны плохо, но слово — так же отчетливо, как и всегда, оно, будучи произнесенным, создает предмет. Эта специфическая перформативность языка встречает нас, когда мы приходим в жизнь. Затем, когда мир приобретает ясность и отчетливость, она как будто бы отступает, но ждет только подходящего случая, чтобы вернуться. И не является ли само письмо в его максимально широком значении способом сумеркам еще раз напомнить о себе? А также еще раз напомнить, что наше обещание продолжает выполняться.

Источники и переводы — Primary Sources and Russian Translations

Гари 2001 — *Gary M.* Обещание на рассвете. Пер. Е. Погожевой. М. 2001 (Gary, Romain, *La promesse de l'aube*, Russian Translation).

Деррида 1996 – *Деррида Ж.* Подпись, событие, контекст // Дискурс. 1996. № 1. С. 39–55 (Derrida, Jaques (1977) “Signature Event Context”, *Glyph* 1, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, pp. 172–197).

Ницше 1990 – *Ницше Ф.* Сочинения в 2 т. М. 1990 (Nietzsche, Friedrich, *Works*, Russian Translation).

Остин 1999 – *Остин Дж.* Как совершать действия при помощи слов // *Остин Дж.* Избранное. М.: Идея-Пресс, 1999. С.13–135 (Austin, John L. (1962) *How to do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford).

Остин 2006 – *Остин Дж.* Перформативные высказывания // *Остин Дж.* Три способа пролить чернила. Философские работы. СПб.: Алетейя, 2006. С. 262–282 (Austin, John L. (1961) “Performative Utterances”, *Philosophical Papers*, Oxford University Press, Oxford, pp. 220–241).

Рикёр 2010 – *Рикёр П.* Путь признания. М.: РОССПЭН, 2010 (Ricœur, Paul (2004) *Parcours de la reconnaissance*, Gallimard, Paris).

Сёрль 1986^a – *Сёрль Дж.* Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. 1986. Вып. 17. Теория речевых актов. С. 151–170 (Searle, John R. (1965) “What is a speech act?“, *Philosophy in America*, ed. Max Black, Allen and Unwin, London, pp. 221–239).

Сёрль 1986^b – *Сёрль Дж.* Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. 1986. Выпуск 17. Теория речевых актов. С. 170–195 (Searle, John R. (1976) “A classification of illocutionary acts”, *Language in Society*, Vol. 5, pp. 1–23).

Стросон 1986 – *Стросон П.Ф.* Намерения и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. 1986. Вып. 17. Теория речевых актов. С.131–151 (Strawson, Paul F. (1964) “Intention and convention in speech acts”, *The Philosophical Review*, vol. LXXIII, No 4, pp. 439–460).

Árdal, Páll S. (1968) “And That’s a Promise”, *The Philosophical Quarterly*, Vol. 18, No. 72, pp. 225–237.

Austin, John L. (1962) *How to do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford.

Barker, Donald R. (1972) “Hypothetical Promising and John R-Searle”, *The Southwestern Journal of Philosophy*, Vol. 3, No. 3, pp. 21–34.

Derrida, Jaques (1978) “Limited Inc”, *Glyph* 2, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, pp. 162–254.

Derrida, Jaques (1988) *Limited Inc*, Northwestern University Press, Evanston, IL.

Melden, Abraham I. (1956) “On Promising”, *Mind*, Vol. 65, No. 257, pp. 49–66.

Searle, John R. (1977) Reiterating the Différences: A Reply to Derrida // *Glyph* 1, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, pp. 198–208.

Searle, John R. (1989) “How Performatives Work”, *Linguistics and Philosophy*, Vol. 12, No. 5, pp. 535–558.

References

Bach, Kent, Harnish, Robert M. (1992) “How Performatives Really Work: A Reply to Searle”, *Linguistics and Philosophy*, Vol. 15, No. 1, pp. 93–110.

Bach, Kent, Harnish, Robert M. (1979) *Linguistic Communication and Speech Acts*, The MIT Press, Cambridge, Mass., and London.

Corredor, Cristina (2009) “The Reflexivity of Explicit Performatives”, *Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, Vol. 24, No. 3(66), pp. 283–299.

Johansson, Ingvar (2003) “Performatives and Antiperformatives”, *Linguistics and Philosophy*, Vol. 26, No. 6, pp. 661–702.

Munro, Andrew (2013) “Reading Austin Rhetorically”, *Philosophy & Rhetoric*, Vol. 46, No. 1, pp. 22–43.

Stoljar, Samuel (1988) “Promise, Expectation and Agreement”, *The Cambridge Law Journal*, Vol. 47, No. 2, pp. 193–212.

Сведения об авторе

МОНИН Максим Александрович – кандидат философских наук, преподаватель кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета.

Author’s information

MONIN Maxim A. – CSc in Philosophy, Department of Humanities, Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University).